

IX. АНОНИМНАЯ БРОШЮРА О ГЕРЦЕНЕ 1870 г.

Публикация Б. Козьмина

Перепечатаваемая нами брошюра является исключительной библиографической редкостью. Насколько известно, из всех крупнейших московских и ленинградских библиотек, она имеется только во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.

Брошюра эта была издана в 1870 г., вскоре после смерти Герцена. Ни место ее издания, ни типография, в которой она печаталась, на титульном листе не обозначены (она напечатана без обложки). Но имеется указание, что приобрести эту брошюру можно в Париже и Лейпциге в Интернациональном книжном магазине (Librairie Internationale) и в Берлине и Женеве у всех книгопродавцев.

Фамилия автора брошюры также не указана. Чтобы определить кем она была написана, приходится обращаться к ее содержанию. Из брошюры выясняется, что автор ее:

во-первых, не был лично знаком с Герценом;

во-вторых, во время издания брошюры находился за границей; в конце брошюры мы находим прямое указание на место и время ее написания: «Париж, февраль 1870»;

в-третьих, у него несомненно имелись связи с русской политической эмиграцией, вследствие чего он находился в курсе ее дел и был знаком с историей ее взаимоотношений с издателем «Колокола»;

в-четвертых, автор брошюры — человек уже не первой молодости; по его словам, он «воспитан» на Герцене и обязан ему «в лучшие годы студенческой жизни лучшими часами».

Под все эти признаки, из всех русских, бывших за границей в 1870 г. и поддерживавших связь с эмиграцией, ближе всего подходит известный критик и публицист, сотрудник «Русского Слова» В. А. Зайцев.

В марте 1869 г. Зайцев покинул Россию и перешел на полсжение эмигранта. На первых порах своего пребывания за границей он поселился в Париже. Тогда же он установил связи с русской эмиграцией. На личное знакомство его с Герценом никаких указаний не имеется.

В 1870 г. Зайцеву шел уже 28-ой год, и он действительно мог еще на студенческой скамье познакомиться с изданиями Герцена. Более молодые представители русского революционного движения, начавшие самоопределяться в политическом отношении после 1861—1863 гг., уже мало интересовались Герценом, видя в нем человека, хотя и заслуживающего уважения, но «отсталого».

Продолжал ли Зайцев в феврале 1870 г., когда была написана печатаемая нами брошюра, жить в Париже? К сожалению, мы не располагаем вполне точными данными о передвижениях Зайцева в 1870 г. Его жена, в своих воспоминаниях, указывает, что, поселившись по выезде из России в Париже, Зайцев в мае 1869 г. ездил в Берлин встречать приехавшую из России семью. Затем, убедившись в дороговизне парижской жизни, он переехал в маленький городок Доль близ Безансона. Оттуда в сентябре 1869 г. он ездил в Лозанну на конгресс Лиги мира и свободы. Далее, в январе 1870 г. он вместе с семьей переехал в Женеву, где завязал сношения с русскими эмигрантами и был принят в Интернационал, но в скором времени «ради экономии и своих работ», переселился в Турин и там обособился на продолжительное время (В. А. Зайцев за границей. — «Минувшие годы», 1908 г., стр. 70—71).

Если исходить из этих сведений, то приходится прийти к выводу, что в феврале 1870 г. Зайцева в Париже уже не было. Однако, этот довод не может иметь решающего значения. Дело в том, что упоминание о Париже, сделанное в брошюре, могло быть фиктивным, рассчитанным на то, чтобы сбить с толка агентов русской политической полиции и затруднить для них раскрытие анонимного автора интересующей нас брошюры. Кроме того, у нас нет никаких оснований считать, что жена Зайцева в своих воспоминаниях дала исчерпывающий перечень всех его поездок по Западной Европе. Наоборот, из других источников мы знаем о некоторых его поездках, ею не упомянутых. Так, А. Х. Христофоров, долговременный сотрудник Зайцева по эмигрантскому журналу «Общее Дело», в написанном им некрологе Зайцева указывает, что еще в 1869 г. Зайцев приезжал из Франции на короткое время в Женеву и именно тогда был принят в Интернационал. Переезд же Зайцева в Турин он относит на весну 1870 г. («Общее Дело», 1882 г., № 47). Далее нам известно, что в № 1 «Недели» за 1870 г. была напечатана корреспонденция Зайцева «Из Италии», посланная им из Турина и датированная декабрем 1869 г. Эта поездка Зайцева в Италию также не отмечена его женою. Все это показывает, что, живя во Франции, Зайцев не раз ездил в другие страны — в Германию, Швейцарию и Италию. Возможно поэтому предположить, что и по переезде в Женеву он не находился там безвыездно, а продолжал свои разъезды, во время которых мог посетить и Париж.

Однако, в виду изложенного, предположение об авторстве Зайцева нуждается в дополнительном обосновании. Поэтому мы вновь обратимся к брошюре и попы-

таемся выяснить политические взгляды ее автора для того, чтобы сопоставить их со взглядами Зайцева.

Автор брошюры с большим уважением относится к деятельности Герцена, признавая его за «одного из лучших людей нашего времени» и преклоняясь перед его ярким писательским талантом. Вполне правильно он признает, что, несмотря на разногласия, существовавшие между Герценом и Чернышевским и несмотря на ошибки, встречавшиеся в деятельности Герцена, он стоял по ту же сторону баррикад, что и Чернышевский. Несомненно полемизируя с брошюрой А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», автор отгораживается от мнения, что «Чернышевский и Добролюбов — люди противоположного элемента Герцену».

Высоко оценивая личность и деятельность Герцена, автор брошюры тем не менее относит себя к числу людей, которые «во многом расходились с ним с самого начала издания «Колокола». Одновременно с этим он называет Чернышевского «величайшим критиком нашего времени» и пишет: «Мы с восторгом приветствовали Чернышевского еще в 1856 году». Несмотря на это заявление, автора брошюры нельзя рассматривать, как единомышленника Чернышевского. Из его брошюры ясно, что он далеко отходит от редактора «Современника» в вопросах философских. Чернышевский был последовательным материалистом, воспитавшимся на сочинениях Фейербаха. Автор брошюры — тоже материалист, но не фейербаховского типа; его материализм имеет механистический характер, своими учителями он называет Бюхнера, Молешотта и Фогта.

Но этого мало, автор брошюры находится под сильным влиянием контовского позитивизма. Он не понимает непримиримой противоположности, существующей между материализмом и позитивизмом, и прямо заявляет: «в сущности позитивизм есть одна из реальных положительных концепций всего сущего, с которой нигилизм, материализм, атеизм совпадают».

Подобный круг идей крайне характерен для писателей группировавшихся вокруг «Русского Слова». Именно они во главе с Д. И. Писаревым стояли в то время на позициях механистического материализма и пытались сочетать материалистическое мировоззрение с идеями позитивизма. Из этого ясно, что автора брошюры надо искать именно среди этих людей, а раз так, то несомненно, что им мог быть именно Зайцев.

Этот вывод подтверждается также и отношением автора брошюры к Бакунину. Несмотря на то, что он считает себя учеником Чернышевского, он не в силах понять несостоятельности идей «социалиста-федералиста» Бакунина. В его главах Бакунин — выдающийся политический деятель, «атлет-мученик». Мы уже упоминали, что Зайцев был принят в Интернационал. Его вступление в эту организацию совпало с жестокой борьбой, происходившей в ее среде, — борьбой между сторонниками Маркса и поклонниками Бакунина. В этой борьбе Зайцев стал на сторону Бакунина. Он сотрудничал в бакунинских «Бюллетенях Юрской Федерации» и одно время, живя вместе с Бакуниным, записывал с его слов его воспоминания.

Полагаем, что все приведенные выше соображения не оставляют никаких сомнений в том, что автором печатаемой нами брошюры о Герцене является именно В. А. Зайцев.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ РУССКОГО К РУССКИМ

«В словах, идущих от такого убеждения (которое было бы делом жизни, картой, на которой все поставлено, страстью, болью), остается доля магнетического демонизма, под которым работал говорящий, оттого его речи беспокоят, тревожат, будят, становятся силой, мощью и двигают иногда целыми поколениями».

«Колокол», стр. 364¹.

Александр Иванович Герцен принадлежал к числу тех немногих, которые не нуждаются после смерти ни в избитых похвалах, ни в оправдании.

Жизнь таких людей лучшая похвала, лучшее оправдание. С нетерпением будем ожидать полной биографии Герцена, которая исчерпывала бы все материалы и представила бы полную картину этой богатой событиями, светлой жизни одного из лучших людей нашего времени; «Былое и думы» знакомят нас с той средой, в которой жил Герцен;

биография его раскроет нам его деятельность, как публициста, мыслителя и человека*.

А пока мы хотим, полные скорби о преждевременной утрате, поделиться мыслью и чувством с друзьями и почитателями А. И. Герцена, и уяснить себе ту чарующую силу, которая притягивала к этой личности людей самого разнообразного направления. — Вся жизнь его представляет удивительное гармоническое целое; угловатости, приводившие извне, сглаживались, перерабатывались и не нарушали цельности характера Герцена. Он обладал таким талантом наблюдательности, что вряд-ли найдется другой мыслитель, соединивший глубину понимания с меткостью, рельефностью оттенков в очертании характеров, событий, частных. Потому-то место, оставленное Герценом, осиротело надолго. Если и без того не богата наша литература талантами первоклассными, то таких «особенностей», которые так высоко ценились почитателями Герцена, не найдешь ни в одном другом публицисте. Явятся другие, с горячей любовью к делу, люди честные, энергичные, но того значения, которое имел «Колокол», не будет иметь ни один обличительный орган, какое бы ни имел крайнее направление. Сила влияния Герцена с 1858 по 1862 г. заключалась именно в той сдержанности, упругости его мысли, пластичности выражения ее; он таил в душе подчас накипавшее негодование, чтобы не истратиться до поры напрасной злобой на лиц, которые держат судьбы народа: во имя того народа он сдерживал себя, говоря с царем; — другое дело Панины, Закревские, Тимашевы, Норовы и другие им подобные камер-лакеи, преданные общественным мнением на позор, таких он не щадил, неистощимые остроты добивали их окончательно; но Герцен не мог ставить серьезной задачей добивание таких мелких личностей; это был необходимый балласт; как умный публицист, он знал, что ему нужна поддержка многих, не одних всецельно преданных ему по единству воззрений и убеждений, ему нужны были и хористы², люди, радовавшиеся, когда так беспощадно смеялись над Паниными и Закревскими.

Это было тактом со стороны Герцена, но он пошел далее, видя что приобретает решительную силу, и в нем росло убеждение, что эту силу он может употребить на благо России. Оттого его решимость писать Александру II, Марье Александровне; он не гнушался писать лицам, обитавшим в Зимнем дворце, и было время, когда читали его там, — хоть из-за «моды» — и слово его не пропадало даром; конечно, ради микроскопической пользы не стоило беспокоить себя, но нельзя бросить упрека на такое благородное увлечение; не будь в России Катковского наводнения, не поверни Александр «вместо вправо — влево» — влияние Герцена должно было бы расти и приобрело бы всемирно историческое значение. Но судьбы истории таковы, что отдельная личность, при всей гениальности, — только орудие законов развития. — Еще не наступила пора в России, чтобы люди закала Герцена, Чернышевского и Добролюбова могли иметь продолжительное влияние; на нашем Севере это — светлые метеоры, и «Полярная Звезда», скрывшаяся за тучами Николаевского царствования, — явилась только на короткое время и со смертью Герцена надолго закатилась.

Сделаем несколько выписок из отрывков V и VI ч. «Былого и дум» («Колокол», стр. 2005), чтобы понять характер деятельности Герцена со смерти Николая. До этого времени в России знали Искандера, как автора «Писем об изучении природы», «По поводу одной драмы»,

* Мы уверены, что А. А. Герцен, сын покойного, сочтет святым долгом перед Россией скорее познакомить нас с драгоценными материалами для биографии отца своего, а также выдаст начатые издания его, готовые к печати главы «Былого и дум» — и из прежних статей «Письма об изучении природы», соображаясь с его волей.

«Капризов и раздумья», превосходных «Записок доктора Крупова» и романа «Кто виноват». Люди, как Грановский, Белинский, считали его самым konsekventным, самым энергичным в своем кружке; когда в 1847 он покинул на долгую, вечную, как он сам предчувствовал, разлуку друзей своих, связь между ними не прерывалась.

В России имя Искандера, повторяемое шопотом, тем не менее не было забыто, и поколение, которое шло за людьми конца сороковых го-



ГЕРЦЕН

Фотография, 1868 г.

Институт литературы, Ленинград

дов, все так же любило запрещенного автора. Трудно было достать полных номеров «Отечествен. Записок» 1842—46 годов. Статьи с надписью И-р вырезались, покупались на вес золота, переплетались в драгоценный переплет, читались с чувством чуть не религиозным, переписывались друзьями счастливых обладателей этого «священного предания», цитировались при случае и без особенного повода, до самого появления «Полярной Звезды» и «Колокола».

Вот что говорит сам автор о своей жизни и деятельности за границей в это время: «По мере того, как росла после 1848 и утверждалась реакция в Европе, а Николай свирепел не по дням, а по часам, русские

начали избегать меня и побаиваться... К тому же в 1851 стало известно, что я официально отказался ехать в Россию. Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужасом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечественника. Когда в Ницце ко мне заехал в карете и с лон-лакеем А. И. Сабуров, я сам смотрел на это, как на геройский подвиг. Проезжая тайком Францию в 1852 г. я в Париже встретил кой-кого из русских, — это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы...

«...Три года лондонской жизни утомили меня. Работать, не видя близкого плода, тяжело; к тому же я слишком разобщенно стоял со всякой родственной средой. Печатаю с Чернецким лист за листом и ссылая груды отпечатанных брошюр и книг в подвалы Трюбнера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Но не продолжать я не мог: русский станок был для меня делом жизни, доской из отчего дома, которую переносили с собой древние германцы; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен. Но при всем том глухо пропадавший труд утомлял, руки опускались. Вера слабея минутами и искала знамений, и не только их не было, но не было ни одного слова сочувствия из-дома.

«...С Крымской войной, со смертью Николая, настает другое время...

«...За дело! И за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве, громкие рукоплескания и горячие сочувствия неслись из России. «Полярная Звезда» читалась нарасхват. Непривычное ухо русское примирялось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность.

«...Весной 1856 приехал Огарев; год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист «Колокола». Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную Звезду»: «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, неискаженного цензурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение; были письма, от которых слезы навертывались на глазах... Но и не одно молодое поколение поддерживало нас...

«...«Колокол» власть», — говорил мне в Лондоне, *horrible dictu*, Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу.

«...Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде.

«...По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка» Кочубея, подстрелившего своего управляющего.

«...Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей...

«...Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. «Кто же, говорил он, мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствующих?»

Значение Герцена как мыслителя вообще — без отношения его к политике — дает ему место в ряду первых мыслителей нашего века. Он был сперва гегелиянцем, как Бакунин и Белинский (до 1842 года); но в начале сороковых годов, освободившись от диалектических цепей философии, пошел вслед тому направлению, которое отрицает все школы, которое отрицает философию и религию, как игру праздной детской фантазии, и первый в России стал предвозвестником «нигилизма» в 1842 г., когда еще никто не касался у нас этих вопросов; он подготовлял этим молодое поколение к принятию идей, сделавшихся теперь ходячей истиной благодаря популяризации этих учений Бюхнером, Молешоттом и Фогтом. Герцен еще недавно, в 1868 году в письме своем по-

зитивисту Вырубову* отстаивал этот «нигилизм»³: это не нигилизм, который сочинен Катковым, Муравьевым и К⁰; это нигилизм современной положительной науки, реализм другими словами, — Клод Бернар называет его детерминализмом; дело не в слове, не в названии; дело в понимании. К числу нигилистов, как понимал Герцен это слово, как мы его понимаем, принадлежат Гумбольдт, Прудон, Гольмгольц, Гарибальди и др., всякий честный развитой человек, свободный от религиозных предрассудков.

Один из присутствовавших на погребении Герцена, Малардые, называл его русским Вольтером⁴; нам кажется, что это название не совсем верно; он не был Вольтером, он был Дидро XIX века, — Дидро, живший не до грозы 1789 г., а после этой грозы и переживший другую — Июньские дни 1848 г. — Книга «С того берега», — лучшее, что писал Герцен, по собственному его сознанию, — доказывает справедливость нашего воззрения. — Подобной книги нет, она стоит особняком, и нигде нет лучшей оценки событий 1848 года. Герцен встретился с Европой лицом к лицу в разгар революции, западником, врагом славянофильства; он отрезвился, он увидел, что европейский строй гнил, не в том смысле, как понимали славянофилы, а потому гнил, потому что господство буржуазии доигрывает свою роль, пирует свою Вальтазаровскую оргию. Это понимание отдалило его от западников, приблизило к славянам, — «течением времени» он развивался, не коснел, как бывшие друзья и враги его, вместо скептического отношения к России, родилась в нем вера в Россию, как к незараженной болезнью Западной стране, и в Америку, как «будущему России» в подорожной современной истории.

Здесь мы должны остановиться и сделать несколько выписок, чтобы словами Герцена обозначить отношение его и его воззрений к воззрениям славянофилов, и другим партиям с претензией на патриотизм. Лучше всего это высказано им в письме к Бакунину, в письме к противнику (И. Аксакову)⁵ и статьях «Концы и начала».

«...Когда я спорил в Москве — пишет он Аксакову («Кол.», стр. 1566)⁶, — с славянофилами (между 1842—1846 годами), мои воззрения в основа были те же. Но тогда я не знал Запада, т. е. знал его книжно, теоретически и еще больше — я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, западником. Париж в один год отрезвил меня — за то этот год был 1848 г. Во имя тех же начал, во имя которых я спорил с славянофилами за Запад, я стал спорить с ним самим.

«...Обличая революцию, я вовсе не был обязан переходить на сторону ее врагов, — падение февральской республики не могло меня отбросить ни в католицизм, ни в консерватизм, оно меня снова привело домой.

«...Стоя в стану побитых, я указывал им на народ, носящий в быте своем больше условий к экономическому перевороту, чем окончательно сложившиеся западные народы. Я указывал на народ, у которого нет тех нравственных препятствий, о которые разбивается в Европе всякая новая общественная мысль, а напротив, есть земля под ногами и вера, что она его.

«...И вот пятнадцать лет я постоянно проповедую это, слова мои

* Герцен не нападал на позитивизм. Вырубов под нигилизмом понимает полное отсутствие положительного содержания. Оттого, естественно, было ему возражать Герцену. Недоумение на словах, в сущности позитивизм есть одна из реальных положительных концепций всего сущего, с которой нигилизм, материализм, атеизм совпадают.

возбуждали смех и негодование, но я шел своей дорогой. Пришла Крымская война, смех заменился свистом, клеветой... но я шел своей дорогой. По странной иронии мне пришлось — на развалинах французской республики проповедывать на Западе часть того, что в сороковых годах проповедывали в Москве Хомяков, Киреевские... и на что я возражал.

«...Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещающий дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадиллом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы. Патологическое описание Хомякова верно, но из этого не следует, что я согласен с его теорией и с его объяснениями зла.

«...Мое воззрение отчасти вам известно, я думаю что знаю ваше, а потому точку определить не трудно. Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, — это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему (которую я также, как и «День», не смешиваю с больше и больше ненавистной мне добродетелью патриотизма) и желание деятельно участвовать в его судьбах.

«...Любовь наша не только физиологическое чувство племенного родства, основанное исключительно на случайности месторождения, она сверх того тесно соединена с нашими стремлениями и идеалами, она оправдана верой, разумом и потому она легка и совпадает с деятельностью всей жизни.

«...Для вас русский народ преимущественно народ православный, т. е. наиболее христианский, ближайший к веси небесной. Для нас русский народ преимущественно социальный, т. е. наиболее близкий к осуществлению одной стороны того экономического устройства, той земной веси, к которой стремятся все социальные учения.

«...Не мы перенесли на народ русский свой идеал и потом, как это бывает с увлекающимися людьми, сами же стали им восхищаться, как находкой».

Идеи славянства повторились еще раз, в новой, еще небывалой редакции на Московском съезде — т. н. этнографической выставке⁷. Паллаций жал руки Каткова и Погодина, славянофилы плакали от умиления, никто из славян не понимал друг друга, и хорошо сделали, что не договорились до вопроса:

Славянские ручьи сольются ль в русском море?
Они ль иссякнут?

А то бы дошло и до драки.

Но какая разница между направлением гуманным Герцена и панславизмом московским!

«Я не могу удержаться от улыбки, — пишет Герцен Бакунину («Колокол», стр. 1992)⁸, — читая наши стародавние мысли, разбавленные водой из Фонтанки и из Патриарших прудов, повторяемые на тысячи ладов на московских пирах, на петербургских обедах, на сходах и конференциях, в передовых статьях журналов и в речах злейших врагов наших. Иногда, как Тарас Бульба, я их не тотчас узнаю, все они прошли богословием и оделись в стихари, натерлись постным маслом и пропахли ладаном; самые светские из них в мундирных фраках разных ведомств. Согласись, Бакунин, что, помимо великой иронии, есть глубокое наслаждение в этом карнавальном зрелище чиновничьего обсуживания вопросов о Западе и Востоке и православно-революционной пропаганды, имеющей целью поднять славян с хоругвью Кирилла и Мефодия... Вот какую кору пробилло семя... и нечего сердиться, что на ростках осталась грязь!»

Из этих строк письма Герцена к Бакунину видны их тесные отно-

шения друг к другу. Бакунин был всегда и остался до сих пор оплотом, самым верным защитником славянства; он понимает славянскую федерацию в будущем как цепь безгосударственных союзов рабочих ассоциаций, — союзов, которые зиждутся и растут в среде «Международной ассоциации рабочих», которой он один из деятельных членов. И Герцен сочувствовал идеям этого великого союза.

Мы уверены, что не станут понимать вкрявь и вкось сравнение, которое мы сделаем между Герценом и Бакуниным, с одной стороны, — и Гарибальди и Маццини, с другой. — Это не значит, чтобы Герцен мог играть ту же роль в России как Гарибальди в Италии, первый — герой мысли и слова, второй — меча и дела, Бакунин — социалист-федералист, Маццини — централизатор-республиканец и антисоциалист*; с другой стороны, как не заметить сходства Гарибальди как человека с Герценом как человеком — и неутомимого бойца-мученика Маццини с атлетом-мучеником Бакуниным. Но дело в том, что отношения Герцена к Бакунину сходны между собою как отношения Гарибальди к Маццини; подобно тому как многие поклонники первого не понимают значения второго, — и Герцен какою-то особенно ему свойственной мягкостью характера привлекал большее число почитателей, хотя в сущности Герцен сходился с своим другом в воззрениях и не уступал ему в консеквентности.

Подобные отношения были и между Чернышевским и Добролюбовым. Последнего ставил Чернышевский выше себя именно потому, что Добролюбов не был по нутру тем, которые могли еще переносить Чернышевского. Заговорив об этих двух лучших деятелях начала истекшего десятилетия, мы должны сказать, как к ним относилась редакция «Колокола».

Герцен сам ясно определил свои отношения к Чернышевскому. Слова его должны примирить нас совершенно с невольной ошибкой человека, прожившего более 20 лет на чужбине. Мы далеко не того мнения, что Чернышевский и Добролюбов люди противоположного элемента Герцену; мы помним ту лучшую эпоху нашей жизни, когда имена эти повторялись неразрывно и были дороги одинаково всякому честному человеку в России. Чернышевский и Добролюбов обуславливали Герцена, как он их в свою очередь. Самостоятельность Чернышевского — доказательство его гениальной природы, а не враждебного отношения к Герцену, который относился к «Современнику» самым симпатическим образом; а два, три столкновения между редакциями — невольная ошибка непонимания — из туманного далека. Герцен открыто в 1861 году заявлял свою солидарность с «Современником» и вот что он писал в 1867 г. («Кол.», стр. 1903)°:

«...Чернышевский не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику современно существующих порядков. Стоя один, выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающих угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся — что им делать. Его среда была городская, университетская, среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата интеллигенции, из «способностей». Чернышевский, Михайлов и их друзья, первые в России звали не только

* Это не упрек... Есть лица, заслуги которых так высоки, так святы, что было бы безумно упрекать, что они несовершенны, как боги.

труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унижительного несовершеннолетия, от жизни на содержании — и в этом одна из величайших заслуг их.

«...Пропаганда Чернышевского была ответом на настоящие страдания, словом утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в самом деле юной Россией — и прикидывающейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» — и «помещиков в оппозиции».

Польский вопрос провел резкую черту в отношениях Герцена к России. Он остался верным знамени своему, — в России злая сила одолела! Герцен и Бакунин проклинали квасной патриотизм, и во имя человечества стали за подавленную Польшу; в России даже «честные» славянофилы не постыдились участвовать в хоре руссопостыужающего патриотизма, охватившего правительство, духовенство, литературу, так что в этом смешении языков и наречий, одежд и лиц трудно было найти что-нибудь разумно-человеческое. Филарет¹⁰, отплевывавшийся от Каткова в 1855, «аки от еретика человека», в 1863 г. шлет ему благословение и лик архангела Михаила; Катков, бывший друг Грановского, становится гнусным ренегатом, адвокатом виселицы, публицистом на содержании; Аксаков боится отстать от «западников» во рвении и заявлении верно-подданических чувств. — Злая сила одолела и уж не «Галелеянин» победил¹¹, а просто наглое нахальство и изуверство сямских братьев «Московских Ведомостей». Немногие остались верны Герцену, и это были лучшие люди на Руси, но и между ними произошло раздвоение.

Между тем как одни были сосланы, запуганы, другие теряли веру в возможность плодотворной деятельности и остановились, выжидая чего-то, часть молодого поколения, измученная, оклеветанная, раздраженная реальными, ею претерпенными, несправедливостями, озлобилась, и на обвинение в «нигилизме» ответила выстрелом 4-го апреля¹²... Герцен, по натуре своей верный своему прошлому, не мог без оглядки ударить в набат; он разошелся с этой частью молодого поколения, желающей мести во что бы то ни стало; опытность мыслителя не совпадала с горячкой молодых сил, дело шло дальше слова; Герцен понял, что ему лучше остаться наблюдателем, и он замолк; в его намерении однако было выждать, осмотреться, и сколько светлых идей было-бы им брошено снова в мир если б не глупая случайность, пресекавшая эту богату жизнь!

О начале своего разрыва с молодой Россией он рассказывает сам в № 245 «Колокола»; приводим живой рассказ его. Приезжает молодая девица, посланная к нему для объяснений на счет пожаров в Петербурге; это было летом 1862 г.¹³

— «Скажите бога ради, да или нет, — вы участвовали в петербургском пожаре?

— Я?

— Да, да, вы; вас обвиняют... по крайней мере, говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.

— Что за безумие, и вы это можете принимать так серьезно?

— Все говорят!

— Как это все? Какой-нибудь Николай Филиппович Павлов? (Мое воображение в те времена дальше не шло!)

— Нет, люди близкие вам, люди, страстно любящие вас, — вы для них должны оправдаться; они страдают, они ждут...

— А вы сами верите?

— Не знаю. Я за тем и пришла, что не знаю, а жду от вас объяснения...

— Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы сказал вам это, так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить... Лучше скажите, где, во всем писанном мною, есть что-нибудь, одно слово, которое бы могло оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтобы рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!

— Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? — заметила она, и в глазах ее было видно раздумие и сомнение. — Заклейте печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними, или...

— Или что? Ну полноте, — сказал я ей, улыбаясь, — играть роль Шарлоты Корде; у вас нет кинжала, и я сижу не в ванне. Вам стыдно, и нашим друзьям вдвое, верить такому вздору, а нам стыдно в нем оправдываться, да еще по дороге стараясь утопить и разобидеть каких то нам совершенно незнакомых людей, которые теперь в руках тайной полиции и которые очень может быть столько же участвовали в пожарах, сколько и мы с вами.

— Так вы решительно не будете оправдываться?

— Нет...

«...В то время, как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи проталкивалась с нами как с отсталыми на дороге. Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали, как суровые волны жизни стубят уплывших далеко, и только часть причалит назад к берегам.

«...Клевета росла и вскоре, подхваченная печатью, разошлась по всей России. Тогда только-что начинался фискальный период нашей журналистики. Я живо помню удивление людей простых, честных, вовсе не революционеров, перед печатными доносами, — это было совершенно ново для них. Обличительная литература круто повернула оружие и сразу перегнулась в литературу полицейских обысков и шпионских наущничаний.

«...В то же время радикальная партия, юная и потому самому теоретическая, начинала резче и резче высказываться, пугая без того испуганное общество. Она показывала казовым концом своим такие крайние последствия, от которых либералы и люди постепенного развития, крестясь и отплевываясь, бежали зажимая уши и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции.

«...Едва призванная к жизни сила общественного мнения обличилась в диком консерватизме, она заявила свое участие в общем деле, толкая правительство во все тяжкие террора и преследования.

«...Наше положение становилось труднее и труднее. Стоять на грязи реакции мы не могли, вне ее у нас пропадала почва.

«...Точно потерянные витязи в сказках, мы ждали на перепутьи. Пойдешь направо — потеряешь коня, но сам цел будешь; пойдешь налево — конь будет цел, но сам погибнешь; пойдешь вперед — все тебя оставят; пойдешь назад — этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынник, который бы снял с нас тяжесть раздумья...» («Кол», стр. 2002).

Грустно было Герцену причисление его деятельности «Молодой Россией» к категории «отсталой» или по крайней мере «отставшей», между тем, как «пожилая» считала его чуть не опаснее Стеньки Разина, Пугачева. Герцену было больно от этой размолвки с частью молодого

поколения, но это была только одна часть, передовая боевая колонна, которая рвалась на битву, ей не сиделось на месте, она нетерпеливо отнеслась к речи, жаждала дела. — Герцена нельзя именно обвинить в отсталости, он до последней минуты сохранил свежесть юношеского увлечения, его мозг не начинал еще коснеть, как он сам мог ожидать это лет через 20 или 30. Вспомним слова Полевого, сказанные ему при последнем свидании («Былое и думы», т. I, стр. 214)¹⁴.

Герцен не от усталости перестал звонить в «Колокол», а оттого, что он видел, что благовест к «собору» — проповедь в пустыне; а в «набат» ударить было против его убеждений, против характера всей его деятельности.

Он не ударял в набат, но не помешал другим, никогда не вырвалось у него крика: назад! Он понимал свое призвание и не хотел оставлять своего поста. Он был первым предвозвестником борьбы, глашатая пробужденной мысли в России, ему и след было оставаться спокойным, бесстрастным наблюдателем, обозревающим вперед идущих, и потом кликнуть первому радостную весть о победе. — Вот его слова в конце 1862 г. («Колокол», 15 авг.)¹⁵:

«Молодая Россия» думает, что «мы потеряли всякую веру в насильственные перевороты».

«Не веру в них мы потеряли, а любовь к ним. Насильственные перевороты бывают неизбежны; может, будут у нас, это — отчаянное средство, ultima ratio народов, как и царей; на них надобно быть готовым; но выкликать их в начале рабочего дня, не сделав ни одного усилия, не истощив никаких средств, останавливаться на них с предпочтением, нам кажется так же молодо и незрело, как нерассчетливо и вредно пугать ими.

«...Кто знаком с возрастом мыслей и выражений, тот в кровавых словах «Юной России» узнает лета произносящих их. Террор революций с своей грозной обстановкой и эшафотами нравится юношам так, как террор сказок с своими чародеями и чудовищами нравится детям.

«...Террор легок и быстр, гораздо легче труда, «гнет, не парит, сломит — не тужит», освобождает деспотизмом, убеждает гильотиной. Террор дает волю страстям, очищая их общей пользой и отсутствием личных видов. Оттого-то он и нравится гораздо больше, чем самообуздание в пользу дела.

«...Мы давно разлюбили обе чаши, полные крови, штатскую и военную, и равно не хотим ни пить из черепа наших боевых врагов, ни видеть голову герцогини Ламбаль на пике... Какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы, и если иногда следует перешагнуть их, то без кровожадного глумления, а с печальным трепетным чувством страшного долга и трагической необходимости.

«...К тому же и май смерти, как май жизни, цветет только один раз. Террор девяностых годов повториться не может, он имел в себе наивную чистоту неведения, безусловную веру в правоту и успех, которых последующие терроры не могут иметь. Он развился, как тучи развиваются и разразился, когда был слишком переполнен электричеством; оттого-то в его мрачном характере есть какая-то девственная непорочность, в его беспощадности — детское добродушие. И при всем этом террор нанес революции страшнейший удар.

«Французский террор всего менее возможен у нас. Революционные элементы во Франции стекались из городов в Париж, там троились в клубах и конвенте и шли с мечем и топором в руке проповедывать филантропические идеалы и философские истины до последнего городского вала, до последнего горожанина, редко далее. Крупицы падали и мужикам, но случайно. Революция как стремительный поток захваты-

вала берега полей, подмывала их, но не теряла своего главного, муниципального русла.

«...Децентрализация — первое условие нашего переворота, идущего от нивы, от поля, от деревни и вовсе не в Петербург, откуда народ до 19 февраля 1861 года ничего не получал, кроме бедствий и унижений, и не в Москву, где рядом с мощами починают и живые, довольные как Симеон богоприемец тем, что увидели нарождающуюся Русь».

Вера в молодые силы России была его заветной мыслью. Он с нею и умер, и ее он завещал молодому поколению.

Не надо потому мерить значения заслуг Герцена по теперешним результатам его пропаганды, надежды его не исполнились, ибо были иногда преувеличены, он тщетно звонил к «Земскому собору»; мирного переворота не суждено было ему видеть, но он умер, не дожив до разочарования.

Если практическая сторона деятельности Герцена по результатам может быть названа делом почти бесплодным в настоящем, то в будущем теоретическая сторона, т. е. семена социальной науки, брошенные им, найдут плодотворную почву. Грустно было бы подумать, что Пушкин прав, говоря:

Свободы сеятель пустынный,
Я рано вышел до звезды:
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя,
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды!
Паситесь добрые народы,
Вас не разбудит чести клич!

Или Аксакова слова и теперь еще имеют смысл?

Бесплодны все труды и рвенья,
Бесплоден слова дар живой,
Безумен подвиг обличенья,
Безумен всякий честный бой!
Безумна честная отвага
Правдивой юности, и с ней
Безумны все желанья блага,
Святые бредни юных дней!...

И где найти ответ на вопрос Некрасова русскому народу:

Ты проснешься-ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинувшись закону,
Создал песню, подобную стону
И духовно навеки почил?

Мы удерживаемся от пророчества и не верим ни оракулам, ни предсказателям. — Время даст ответ... Увидим! — Добрая память честному деятелю А. Н. Герцену и с свежими силами вперед, молодое поколение!

Париж, февраль 1870.

* * *

Мы считаем нужным сделать оговорку для проникательного читателя, которому покажется наша острая беседа каким-то панегириком Герцену. Успокойтесь, проникательный читатель, мы не знали лично Герцена, мы любили его и будем неизменно уважать его память оттого, что мы и друзья и товарищи наши воспитаны на нем, мы обязаны ему были в лучшие годы студенческой жизни лучшими часами, теми, которые проводили читая его. Те, которые пристали в Герцену во время его блеска и славы, те не могли ни понять его, ни ценить его,

когда он сошел со сцены. Большая часть бросила его из того, что мо- да прошла, другие, что уж очень «красным» стал, да нас заденет пожа- луй, третьи оттого, что Польшу защищает, — все эти ненужные поклон- ники отстали и не было бы беды. Но где же те остались, которые лю- били его искренно; и их осталось немного, потому что большая часть отошла от него, как от человека, отыгравшего свою роль — остались те, которые любили его не за внешний блеск, не за шум, не за успех, а за внутреннее содержание, за его глубокий ум, за его благородный характер, за все его прошедшее; за все это любили его не одни русские, за эти человеческие достоинства любили его лучшие люди нашего века.

Им мы подготовлены и к пониманию Чернышевского. Мы с востор- гом приветствовали Чернышевского еще в 1856 году, мы чтим его и будем всегда ему верны так же, как и Герцену. Мы считаем Черны- шевского величайшим критиком нашего времени; это наше убеждение, которое смело можем высказать: Герцен и Чернышевский два величай- шие мыслителя России и одни из первых нашего века. Здесь, в сфере мысли они были равны друг другу. Проницательный читатель должен понять, что мы в сфере политической деятельности отдаем преимуще- ство Чернышевскому как «из народа вышедшему», но разве не громад- ная заслуга Герцена, что он, избалованный воспитанием, сумел вынести из среды своей и внешний блеск цивилизации и так близко, таким вер- ным чутьем подойти к пониманию народа?

У нас русских — совершаются странные дела: будь Герцен ита- лиянец, француз, англичанин, и сойди он со сцены и умри тихо, без шума, — заговорило бы народное самолюбие и, несмотря на старые грехи и ошибки, воздало бы честь гражданину, честно послужившему родине. Герцен по уму, таланту, по всему складу жизни выше многих европейских знаменитостей, хоть бы Victor Hugo, Ledru-Rollin и т. п.

А на его могиле при погребении было всего 500 человек, да и большею частью французов! Спасибо Вырубову, что он от лица русских сказал несколько теплых, задушевных слов¹⁶.

Мы ставим выше всего идею равенства, и не любим оваций и триумфальных декораций, но непризнание таланта есть своего рода оскорбление человеческого достоинства, и на Гете и Гумбольдта мож- но нападать — но кто же осудит невольное желание почтить так или иначе их память?

Мы остались верны Герцену, хотя во многом расходились с ним с самого начала издания «Колокола». Но мы не можем не ценить его как одного из лучших классических писателей наших... Гоголя не забудут как автора «Мертвых душ», несмотря на дикую переписку с друзьями, а Герцен не дал почувствовать ни одного такого диссонанса, который бы оскорбил демократию. Он умер в Париже 21 января, в rue de Rivoli с теми же убеждениями, с какими выезжал весной 1847 года из России.

Errare humanum est, ошибался и он, и охотно выслушивал упреки, когда они шли с «левой» стороны. — Упреки эти были, может быть, и основательны; насколько, мы не можем судить, ибо не знаем этих «до- машних дел» эмиграции¹⁷. Но видеть недостатки такого человека как Герцена еще не значит быть гениальнее его, при всей честности убежде- ний и прямоте характера, всегда достойных уважения. Оттого то нам отраднo заявить, что Герцен в последние дни еще сочувственно гово- рил об одном честном молодом деятеле, так рано умершем в Женеве, который в свое время высказал ему много горького за-за любви к правде (хотя в форме, не одобренной даже его ближайшими друзьями. Мы ценим благородную деликатность редакции «Народного Дела», только вскользь упомянувшей об этой размолвке)¹⁸.

Смерть нивелирует, примиряет; мы уверены, что могила Герцена не

будет забыта не только ни одним честным русским, но что вообще память его будет чтиться всеми честными людьми — хотя и с различными оттенками во мнениях, принадлежащими к одному великому братскому союзу, называемому Интернациональной Ассоциацией. В этом союзе нет места ни мелкому эгоизму, ни поклонению избранникам, но коллективность как сумма равных личностей любит чествовать тех из среды своей, которые особенно послужили на пользу общую. Internationale заявила в своем органе «Egalité», что она не забудет Герцена, как Герцен не забывал своей связи с ней.

¹ Цитата из статьи «Very dangerous!!!» (Герцен, т. X, стр. 11).

² «Хористы» — термин, заимствованный автором брошюры у Герцена. В «Былом и думам» Герцен называл «хористами революции» обывателей, становящихся на сторону революции в момент подъема революционной волны.

³ Имеется в виду «Ответ г. Вырубову» (Герцен, т. XXI, стр. 287).

⁴ М а л а р д ь е — французский политический деятель, член Учредительного собрания 1848 г. Присутствуя на похоронах Герцена, он бросил в могилу на его гроб букет красных иммертелей, сказав: «Вольтеру XIX столетия».

⁵ «Письма к противнику» были адресованы Герценом не к И. С. Аксакову, а к Ю. Ф. Самарину.

⁶ Цитата из «Писем к противнику» (Герцен, т. XVII, стр. 369).

⁷ В 1867 г. в Москве, в связи с открытием этнографической выставки был организован, в целях панславистской пропаганды, всеславянский съезд.

⁸ Цитата из статьи Герцена «Из письма к М. Бакунину» (т. XIX, стр. 383).

⁹ Цитата из статьи Герцена «Порядок торжествует» (т. XIX, стр. 123).

¹⁰ Ф и л а р е т (1783—1867) — московский митрополит.

¹¹ Намек на статью Герцена «Через три года» (т. IX, стр. 126), которой Герцен в 1858 г. отозвался на царские рескрипты, возвещавшие начало работ по подготовке крестьянской реформы. Эта статья начиналась словами: «Ты победил, Галилеянин!»

¹² Выстрел 4 апреля — покушение Каракозова на Александра II в 1866 г.

¹³ Цитата из главы «Апогей и перигей» 6-ой части «Былого и дум».

¹⁴ Н. А. Полевой во время одного спора с Герценом о социализме, на упрек последнего в отсталости, сказал ему: «Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов какой-нибудь молодой человек, улыбаясь скажет: «ступайте прочь; вы — отсталый человек».

¹⁵ Цитата из статьи Герцена «Журналисты и террористы» (т. XV, стр. 371).

¹⁶ В ы р у б о в Григорий Николаевич (1843—1913) — философ-позитивист, с 1867 г. редактор журнала «Philosophie positive». Речь Вырубова была единственной речью, произнесенной на могиле Герцена.

¹⁷ Намек на брошюру А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела».

¹⁸ Имеется в виду некролог А. А. Серно-Соловьевича, напечатанный в № 7—10 «Народного Дела» за 1869 г.

¹⁹ «Egalité» — орган женевской секции Интернационала. В 1870 г. редактором «Egalité» был Н. И. Утин.